

В. Ходасевич о Н. Гумилеве



# КНИГИ И ЛЮДИ

*В нынешнем августе исполняется 70 лет со дня трагической гибели Николая Степановича Гумилева. Осталось много противоречивых воспоминаний о выдающемся поэте, создавшем много стихов и переводов на высочайшем художественном уровне. Статья В. Ходасевича о Гумилеве, с которой мы знакомим наших читателей, носит оттенок субъективизма. Но и она имеет право на существование.*

К пятнадцатой годовщине со дня смерти Гумилева берлинское издательство «Петрополис» выпустило две книжки его: драматическую поэму «Гондла» и третий сборник стихов «Чужое небо», первое издание которого вышло осенью 1912 года.

«Чужому небу» предпослана небольшая вступительная заметка, написанная одним из друзей Гумилева — Г. Ивановым. Не все в этой заметке точно. Гумилев погиб не сорока лет, а тридцати пяти — он родился в 1886 году; его агитация в кронштадтские дни среди рабочих сводилась к нескольким словам, однажды произнесенным на улице, и не имела никакого отношения к Таганцевскому делу, за участие в котором он был расстрелян; в хранении оружия он даже не обвинялся. Однако если пройти мимо этих частности, .. должен сказать, что, к сожалению, основная мысль его, основной импульс его деятельности переданы Г. Ивановым правильно. Я потому говорю «к сожалению», что невозможно не удивиться, до какой степени Гумилев заблуждался в оценке современной ему поэзии и как неверно оценивал свое в ней положение.

Первое появление Гумилева в литературе относится к 1905 г., т. е. как раз к тому моменту, когда Брюсовым был объявлен «конец символизма». Брюсов, однако же, ошибался. К 1905 году был внутренне завершен только тот период русского модернизма, в котором Брюсову принадлежала руководящая роль и которую правильнее называть декадентством. Символизм в ту пору лишь пытался себя осознать — в поэзии молодого Блока, в статьях Белого и Вячеслава Иванова. Как мне не раз уже случалось указывать, вряд ли можно отрицать, что, возникнув от декадентского корня, символизм никогда не освободился до конца от декадентского наследия в самом себе, но именно с декадентством он боролся, именно декадентство вменял в вину Брюсову с его ранними соратниками и позднейшими учениками. О «возвращении поэзии ее прежнего величия» при этом речи не было — такие слова были не во вкусе символистов. Не объявляли они и о намерении «жечь сердца». Но, провозглашая символизм как мирозозерцание, а не как поэтическую школу, именно они, в противовес Брюсову, пытались вновь связать поэзию с жизнью, от которой Брюсовым она уводилась в «только литературу».

Гумилев не сумел этого понять сразу — да так и не понял до самого конца жизни. В ту важную для всякого поэта пору, когда ребяческое подражательство сменяется работой более сознательной, он подпал влиянию Сергея Городецкого — влиянию скорее житейскому, чем литературному, но очень сильному. Это сыграло в его судьбе роль решающую.

Городецкий вырос в окружении Вячеслава Иванова. Ему естественно было бы очутиться в стане символистов. Но личные свойства — желание во что бы то ни стало сыграть видную роль, склонность к рекламе и шумихе — толкали его к тому, чтобы непременно очутиться в числе «зачинателей» какого-нибудь нового направления. У него на глазах Георгий Чулков выдумал мистический анархизм, и он понял, что не боги горшки обжигают. Побывав мистическим анархистом, он, наконец, решил учредить свой собственный «акмеизм», в который по приятичеству завербовал Гумилева, объявив его вторым «мастером» новой школы. Все это было до последней степени несерьезно — теперь даже как-то немодно сознательно вспоминать, в какие бирюльки играли люди. Сбиваясь все же объединяли сами себе, «мастера» все живоородовали свои манифесты, в которых возвещалась борьба с туманами и мистикой символизма — «за новую планету землю». Акмеистами объявлял Ахматову, Осипа Мандельштама, Кузьмину-Караваеву, Зенкевича. Все эти поэты имели друг с другом мало общего, кроме возраста. Каждый шел своего дорогого, мало заботясь о том, что он акмеист. Акмеизм очень скоро перестал существовать, но за это время Гумилев успел раз навсегда вообразить себя глубоким последовательным врагом символизма.

Как уже сказано, он некогда начал с подражаний (что, впрочем, бывает почти со всеми). Его первый сборник «Путь конквистадоров» был именно книгой подражаний Брюсову. В «Жемчугах» подражательство уже уступало место более сознательному ученичеству. Акмеистическая авантюра застигла его в пору писания «Чужого неба» — в 1911—1912 годах. Отнюдь не будучи по природе своей простым эпигоном, он, однако же, не был и человеком, способным открыть в поэзии пути совсем новые. К тому же и сама эпоха не оставляла места для открытия таких путей. По возрасту и по тем мыслям, которые им владели, ему было бы естественно, если не примкнуть к символистам, то все же пройти через символизм или близости от символизма. Но с самоубийственной твердостью «убежденного» акмеиста он оттолкнулся от символизма — и, естественно, очутился в самой гуще брюсовщины.

Перечтите «Чужое небо». По сравнению с прежними книгами Гумилева здесь уже очень большой шаг вперед в смысле индивидуального поэтического развития. Здесь уже слышится собственный голос, здесь уже вырабатывается своя поэтическая манера, свой почерк. Но все это — слово внутри магического круга, раз навсегда очерченного Брюсовым.

Из этого круга Гумилев никогда уже не вырвался. Вся его поэзия, какие бы индивидуальные черты в ней ни проступали с течением времени, как бы ни совершенствовалась она формально, раз навсегда осталась одним из самых талантливых, но и самых отчетливых проявлений чистейшего декадентства. В основе ее лежит характернейшее для декадентства неодолимое стремление к экзотизму — к изображению заведомо чуждого бытия и к передаче насильственно созданных переживаний. Когда Г. Иванов рассказывает, как Гумилев «приказывал себе» быть охотником на львов, солдатом, заговорщиком, он дает классическое изображение насилия, творимого над собой типичным декадентом ради обретения материала для своей поэзии. Тут, однако, нет не только «высшего проявления человеческого духа», но и высшего проявления просто поэзии.

Поэзия Брюсова принято упрекать в книжности. Это отчасти верно, но не в этом заключается ее основной порок. Сама следствием была у Брюсова только следствием необходимости изыскивать экзотические, необычайные темы и разжигать в себе такие же чувства. Гумилев ради этих же поисков ставил на карту собственную свою жизнь (хотя нельзя сказать, чтобы этого лирического авантюризма не было и у Брюсова). Но изысканность была основным пороком гумилевской поэзии так же, как брюсовской. Из этой изысканности проистекала не то что неправдивость, но какая-то в конечном счете несерьезность обоих. Люди, хорошо знавшие Гумилева, сходятся на том, что в нем всегда было что-то ребяческое, что-то сохранялось от гимназиста, воображающего себя индейцем. Лишь немногим известна та же черта в Брюсове, но она была в нем несомненно. Оба и в поэзии, и в жизни играли. Объекты их поэзии (для Гумилева — какие-нибудь абиссинцы, войны, мореходы, для Брюсова — Ассаргадоны, Антони, Клеопатры) были словно куклами. Субъект их поэзии, то «я», от имени которого произносились их лирические признания, фатально напоминает ребенка, который, играя во взрослое, изобретает самые новые, сложные, парадоксальные чувства. — просто потому что еще не знает более простых, но зато и более чуждого человеческого. Поскольку, однако же, оба они были в действительности уже не детьми, придумается сказать, что они были литераторами, игравшими в человека.

Сейчас, когда все в мире очень сурово и очень серьезно, поэзия Гумилева, так же как брюсовская поэзия, звучит глубочайшим пережитком, каким-то голосом из того мира, в котором еще можно было беспечно играть в трагедию. Голос этот для нас уже чужд, у нас осталось к нему историческое любопытство, но нужды в нем мы уже не испытываем.